



А. П. ЧЕБЫШЕВ-ДМИТРИЕВ

«Благонамеренные речи», Н. Щедрина («Отечественные записки», 1873 г., № 1)

<Фрагменты>

Говоря однажды о деятельности Тургенева, мы имели случай объяснить причину громадной популярности, какую он пользовался (особенно, со времен «Рудина»). История литературной деятельности Тургенева, с конца сороковых до начала 60-х годов (т. е. от «Записок охотника» до «Отцов и детей»), есть история нашего общественного самосознания за это время. Его произведениями не только наслаждались, но и поучались, ибо в них читатель находил симпатичное ему разрешение тех вопросов, которые, в данную минуту, наиболее занимали общественную мысль. Мы не ошибемся, сказав, что то место, которое в пятидесятых годах занимал Тургенев, занимает теперь Щедрин. Несмотря на все различие в свойстве талантов, оба эти писателя имеют между собою общего то, что завоевывают себе первенствующее значение не чисто художественными достоинствами своих произведений, а мыслью, которая заключается в них. Ни один из них не дает вам таких типов, как гоголевские герои или герои «Семейной хроники». <...> ...их новые произведения ожидаются с горячим нетерпением, читаются с жадностью, но перечитываются, сравнительно, слишком лениво. Мы сказали, что в свойстве таланта обоих писателей громадная разница: Тургенев — более художник; Щедрин — более публицист. Кисть Тургенева в высшей степени мягка, колорит нежен и несколько туманен; в его тихом смехе нет ни капли ядовитой желчи; на его легкой и беззлобной насмешливости лежит всегда отпечаток грусти и какого-то добродушия. Ничего этого вы не найдете в Щедрине: его кисть груба, его краски слишком яркие, а в желчном смехе вы всего меньше найдете добродушия. Читая Тургенева, вы чувствуете нежное, любящее сердце, которое жаждет отдохнуть на светлых сторонах жизни; напротив, Щедрин сердится, ехидничает и как бы услаждается своим дурным, брюзгливым расположением духа... При всех этих различиях, между

обоими писателями общего то, что произведения их можно охарактеризовать, всего вернее, назвав их размышлениями, в повествовательной форме, о некоторых явлениях современной жизни. <...>

В авторе «Запутанного дела» виден был человек, не разъединенный рефлексией, со здоровым, «но озлобленным умом»; его мысль не замкнулась от изнеможения в тесноту индивидуальной жизни, а рвалась в более широкую сферу вопросов политических и общественных. Ни теряться, с ножом субъективного анализа, в безвыходном лабиринте человеческой души, ни быть невинно щебечущим рассказчиком любовных историй — Щедрин неспособен. Его первая повесть примкнула к той небольшой, составлявшей как бы случайное исключение, группе беллетристических произведений, затрагивавших общественные вопросы, которую составляли «Записки охотника», «Сорока-воровка», «Кто виноват» и некоторые др. Как бы то ни было, но первая его повесть прошла незамеченною, зато с полною удачею выступил он (как говорили, по возобновлении в первый раз) с *Губернскими очерками*, которые сразу выдвинули Щедрина на первый план между современными писателями; дальнейшие его произведения окончательно упрочили за ним его популярность. Большинству современных произведений нашей изящной словесности вредит бедная мелкота мысли, которая ложится в их основу. Наши авторы, обыкновенно, выкраивают своих героев по весьма мизерному шаблону и меряют жизнь на крайне фальшивый аршин. Наши писатели, обыкновенно, желают доказывать и поучать: вот этот-то дидактизм и губит их произведение, ибо мирозерцание авторов слишком жидко, и мораль, проводимая ими, слишком мелкотравчата. При таком положении дела, в Щедрине особенно дорого то качество, выделяющее его из остальных писателей, что он не стремится поучать, а только с беспощадною жестокостью осмеивает все то, к чему прикоснется. Глубина художественного чувства, в соединении с сатирическим свойством сильного ума, делает то, что Щедрин, будучи писателем-публицистом по преимуществу, стоит одиноко, не примыкая ни к группе наших радикальных писателей, занимающихся канонизациею «новых людей» и ожидающих возрождения мира не иначе, как с помощью девиц, занимающихся повивальным искусством, ни к группе наших консерваторствующих беллетристов, ожидающих для мира всяческой гибели именно от девиц-повитух, с Дарвином в руках, — ни от чего более. Ни одна из этих групп не может назвать его своим. Чуткость его художественного чувства открывает ему фальшь там, где другой писатель видит чистую монету и приходит от нее в восхищение; сила его ума мешает ему преклоняться перед теми явлениями жизни, перед

которыми благоговееют наши и поучающие и близорукие писатели. По своим воззрениям, он всего менее может быть причисляем к разряду наших капитан-исправников литературы, но он несолидарен ни с «пенкоснимательством» умеренных либералов, ни с радикализмом наших крайних левых. В то время, когда пенкосниматели захлебнулись с восторга от новорожденной гласности, от повального либерализма, обуявшего всех, от грудных младенцев до седовласых старцев, — Щедрин видел миражность всего этого. В самый разгар восторгов он написал своих *Литераторов-обывателей*, представил превосходный тип ново-глуповца и нарисовал мастерские и уморительные портреты старо-глуповцев, неудачно желающих подделаться под дух времени. В то время, когда пенкосниматели сочли священным долгом пасть ниц перед деятелями новых земских учреждений и ожидали, что в то время, пока они будут лежать ничком, Россия превратится в земной Эдем, — Щедрин написал *Нарцисса*¹, который поднял против него целую бурю со стороны пенкоснимателей. В самый разгар канонизации «новых людей», он жестоко подсмеялся над волосатым братом и его стриженою сестрицей из «нового поколения», которые высказывали желание «упразднить» своего отца с матерью²... Был ли он прав? Оправдались ли те пылкие, ни на чем не основанные надежды пенкоснимателей, к которым Щедрин постоянно относился с недоверием и сарказмом? Увы, он был прав... Но рыная слепота нашего российского радикализма и умеренно-либеральная тупость нашего пенкоснимательства (качество «умеренности» я отношу только к либерализму пенкоснимателей, а отнюдь не к их тупости, которая, как известно, слишком неумеренна) и теперь продолжают считать в Щедрине недостатком то, что составляет его силу: его равновесие духа и ту зоркость взгляда, которые не позволяют ему принимать мираж за действительность, видеть чистое золото там, где есть страшный процент лигатуры, и сузиться до одного из тех трех жиденьких катехизисов, которые проповеваются нашими радикалами, пенкоснимателями и капитан-исправниками литературы. Щедрина упрекают в том, что он глумится надо всем, не имея никакого собственного идеала, никакого своего прочного мирозерцания! Очевидно, этот упрек основан на простом недоразумении. Мы до того привыкли к трем катехизисам³, что уже не представляем себе возможным четвертый, более широкий. Наши литературные партии до того еще проникнуты ненавистью наших самодуров к мельчайшему с ними противоречию, что достаточно не согласиться с одним из их пунктов, чтобы они вас считали врагом и по всем остальным. Вы осмелились заметить смешные стороны адвокатуры, — и вот, в глазах пенкоснимателя, вы являетесь врагом

и судебной реформы, и всех преобразований последнего времени. Вы позволили себе сочувственно изобразить в своей повести добряка-помещика прежних времен, — на вас тотчас накидывается радикальный критик за то, что вы идеализируете крепостное право, желаете его восстановления и враждебно относитесь ко всем новым порядкам: разве можно сочувственно изображать помещика екатерининского или павловского времени, который говорит прислуге *ты*, а не *вы*, и, вообще, живет, мыслит и чувствует, как сын своего времени, а не как современный передовой человек! Вы рисуете симпатичную героиню, имеющую несчастье иметь недостойных родителей, или симпатичного героя, который не имеет склонности и любви к классическим языкам, — на вас тотчас накидывается капитан-исправник за ваши разрушительные тенденции: по его мнению, вы — враг отечества, если осмеливаетесь нигилистически подрывать основы семейства, утверждая, что у достойных дочерей бывают недостойные родители; вы — враг отечества и союзник интернационала, если решаетесь идеализировать человека, который не питает любви к классицизму и, вообще, в своем покрое, хотя несколько отстывает от того казенного образца, по которому капитан-исправник предписывает выкраивать добродетельных мужчин. Отсюда же объясняются нападки на Щедрина за то, что он святотатственно позволяет себе глумиться над тем, что должно быть оставляемо в неприкосновенности. «Положим (говорят эти охранители разных сортов неприкосновенного), что и на солнце есть пятна, и в мире нет ничего такого, что не имело бы своей ахиллесовой пяты. Но позволительно ли с злорадством указывать на пятю, вместо того чтобы восхищаться красотой и мощью Ахилла? Разумно ли, даже честно ли толковать о пятнах на солнце, вместо того чтобы кланяться и благодарить его за свет и теплоту?» Подобные нападки проявляют в тех людях, которые их делают, те же привычки старого закала, о которых мы говорили сейчас. Этот охранитель, накидывающийся на Щедрина за то, что тот осмеливается публично заметить пятно на том, что дорого ему, охранителю, — не напоминает ли вам собою иную барыню-старушку, которая готова вам выпарпать глаза, если вы не согласитесь, например, с нею, что красоту ее фаворита много портит его кривой глаз, или скажете, что ее любимая болонка могла бы быть еще лучше, если бы она была вся белая, без малейшего коричневого пятнышка. Он мой протеже — стало-быть, он хоть и крив, да не крив! Эта моя любимая болонка, стало-быть, не смей никто замечать, а тем более говорить, что у ней на ухе коричневое пятно! Нападки на Щедрина за его святотатственные посягательства на непосягаемое посыпались за его «Нарцисса».

Его «История одного города» вызвала нападки за то, что он не любит России, что он крайне односторонне смотрит на дело, — иначе мог бы увидеть что-нибудь иное, кроме глуповщины, в том народе, у которого есть славное прошедшее и великая будущность. Подобные бессмысленные упреки мы слышали уже далеко не в первый раз и не против одного Щедрина. Подобным упрекам в свое время подвергался Гоголь за то, что он в своем «Ревизоре» дал неполную, враждебную России картину нашего чиновничества, ибо не изобразил ни одного добродетельного понытчика и ни одного великодушного квартального, позабыв, что в нашем чиновном люде были не одни городничие, Тяпкины-Ляпкины и др., но были и хорошие люди. Едва ли стоит опровергать таких «печальников» за честь русской земли: они давно осмеяны Гоголем. Последний рассказ Щедрина касается пресловутого женского вопроса; героем этого рассказа является Тебенюков — умеренный либерал, «в сущности, даже и не либерал, а фрондер», т. е. (как весьма остроумно характеризуется у автора эта порода людей) «почтительно, но с независимым видом лающий русский человек»; фрондирует же он по той причине, что князь Лев Кириллыч, представитель умеренного либерализма, потерял кредит и уступил честь и место князю Ивану Семенычу; вместе с тем и Тебенюкову пришлось до поры до времени остаться не у дел. Женский вопрос, о котором автор заставляет своего героя рассуждать, дает случай Тебенюкову высказать сполна свое *profession de foi*⁴. Либерализм Тебенюкова заключается в том, что, во-1-х, он — человек мягкий; он не любит выражений вроде «согнуть в бараний рог, стереть с лица земли, вырвать вон с корнем» и пр., хотя, по нужде, он и терпит их. Его либерализм заключается, далее, в том, что он не восстает безусловно против таких разрушительных вещей, как, например, читальни, публичные лекции и пр. Он готов все это позволить, — он «все позволит, лишь бы ничего из того не вышло», и не более как настолько, куда отсюда ничего не выходит. Поэтому:

«Я всегда говорил, — рассуждает Тебенюков, — господа, не полагайте движению препон, но умеете овладеть им. Овладейте, господа! Дайте движению надлежащее (разумеется, в смысле Тебенюкова) направление — *et alors tout ça ira comme sur des roulettes*»*.

Умеренные либералы, кроме того, страдают еще и таким свойством: «Я рос и воспитывался в такой среде, где так называемые резкости считаются первым признаком неблаговоспитанности. Как ни велико мое сочувствие благим начинаниям, я не могу выносить

* И тогда все пойдет как по маслу (*фр.*). — *Ред.*

шума, я страдаю, когда в ушах моих раздается крик. Когда передо мною начинают “шуметь”, мне делается не по себе — и я способен даже потерять из вида предмет, по поводу которого производится шум. *Я отворачивался от многих “благих начинаний”, к которым я, несомненно, отнесся бы благосклонно, если бы не примешивались сюда шум и резкости».*

Когда Тебенъков и князь Лев Кириллыч — эти «столпы современного русского либерализма» — сходят со сцены и уступают место ретроградному князю Ивану Семенычу с его *bagarre gouvernementale**, умеренные либералы приходят в ужас и начинают трепетать за судьбу либерально-благих начинаний. Но, в существе дела, система либерального князя Льва Кириллыча и система ретроградного князя Ивана Семеныча суть две стороны одной и той же системы, которую автор весьма удачно называет «системою равновесия». Не можем отказать себе в удовольствии выписать ту тираду Тебенъкова, где он развивает подробности, в чем заключается эта система:

«Система моя очень простая: никогда ничего прямо не дозволять и никогда ничего прямо не воспрещать <...>»⁵

Признаемся, мы еще не встречали до сих пор ни разу в нашей литературе такой меткой, ядовитой и остроумной характеристики нашего умеренного либерализма. Этот Тебенъков, с его любовью к «вольным мыслям лишь постольку, поскольку они представляют *matière à discussion*»**, с его трусливыми поползновеньями к благим начинаниям лишь настолько, насколько из них ничего не выходит, с его любовью к благовоспитанному благочинию и нервным, пугливым отвращением ко всякому «шуму» и «резкости», — этот Тебенъков не напоминает ли вам тех умеренных либералов, которыми еще вчера кишели грады и веси Российской империи? Теперь эти люди перевелись — и перевелись они единственно потому, что испугались «шума» и «из-за резкостей» получили отвращение ко всем «благим начинаниям», о которых они прежде заботились с таким усердием. Они готовы теперь упразднить все естественные науки из-за того только, что им встретился один-другой Базаров, резавший лягушек, и оскорбил их благовоспитанность своею «резкостью». Они готовы теперь сокрушить все женские гимназии ввиду того, в корень сокрушающего весь порядок явления, что дочь Петра Михайловича остригла волосы и облачилась в грязный воротничок, а сестра Алексея Петровича, чисто по-мужски, в публичных местах,

* Правительственная сумятица (фр.). — Ред.

** Повод для спора (фр.). — Ред.

кладет одну ногу на другую и курит сигару с видом либерального ухарства. Эти две дамы до того их напугали, что они до сих пор не могут прийти в себя... Предоставляем читателю прочесть у самого Щедрина о том, как смотрит Тебеньков на женский вопрос, причем он уморительно высказывает свои мнения о значении приличий, о необходимости соблюдать формальное почтение к Таутовой азбуке, о том, при каких условиях женщина, не нарушая своего женского достоинства, может выказать любовь к наукам и пр. В конце концов Тебеньков приходит к тому заключению, что женский вопрос решен еще со времени «Belle Hélène»*, — «но решен так ловко, что это затрогивало одного Менелая». <...> Тебеньковы не возмущаются всем этим: «saperlote (думают они)! не делаться же монахиней из-за того только, чтоб князь Лев Кириллыч имел удовольствие надевать на голову свой ночной колпак!» В той нравственной распущенности, за которую они упрекают практических и теоретических поборниц женского вопроса, Тебеньковых возмущает только тот способ разрешения этого вопроса, которого добиваются его поборницы; вместо того, чтобы разрешить этот вопрос «практически, келейным образом», de facto (в чем никто им не препятствует), эти поборницы «больше хлопочут о том, чтобы было что-то на бумажке написано». «Но, — говорит Тебеньков, — можно упразднить азбуку de facto; взял и упразднил, это я понимаю. Но чтобы придти и требовать каких-то законов об упразднении — c'est tout bonnement exorbitant**.

Они хотят, чтоб им разрешение на бумажке было написано! Они законов требуют. Понимаешь ли: они хотят, чтобы законодатель взял в руки перо и написал: *se permet à ces demoiselles**** и проч. Нет-с! Этого нельзя-с!» Рассказ чрезвычайно уместно оканчивается сценами на Невском, «наглядно доказывающими», в каких широких размерах разрешается женский вопрос практическими последовательницами «Прекрасной Елены» в такой мудрой форме, что «никто никогда не видел в том ни малейшей опасности» и, следовательно, никто не видит ни малейшей надобности им ни препятствовать, ни вопить, что от них погибает мир, без вмешательства и энергической деятельности всех судебных и административных властей.



* Прекрасная Елена (фр.). — Ред.

** Это просто чудовищно (фр.). — Ред.

*** Этим девицам (фр.). — Ред.